

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ: СИНДРОМ БАШМАЧКИНА-БЕЛИКОВА

Эпштейн М.

Широко распространилось мнение, что вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Есть основание сказать, что и многие персонажи русской литературы вышли из гоголевского Башмачкина. Обычно маленький человек трактуется как отдельный тип — униженный, смиренный, безропотный, и Башмачкин ставится в один ряд с пушкинским Семеном Выриным и Макаром Девушкиным Ф. Достоевского, можно поставить Акакия Башмачкина и в совершенно иной, широко расходящийся ряд его непризнанных потомков и наследников в русской литературе.

Этой теме посвящена моя маленькая литературоведческая трилогия, первые две части которой раньше публиковались «Вопросами литературы». В первой статье прослеживалась ведущая от Акакия Башмачкина к Васе Шумкову в «Слабом сердце» Достоевского и к князю Мышкину в его же «Идиоте», — путь превращения смиренного маленького человека-переписчика в положительно прекрасного человека, князя Христа». Во второй статье, прослеживая далее этот возрастающий смысл призвания «переписчика», хранителя букв, мы рассматривали Башмачкина и Мышкина как литературно - мифических прототипов величественно-смирненной фигуры мыслителя-библиотекаря Николая Федорова, создателя философии «Общего дела». Данная статья, завершающая трилогию, показывает иную линию наследования, ведущую от Башмачкина к чеховскому Беликову.

Итак, перед нами два классических произведения малой прозы — повесть Н. Гоголя «Шинель» (1842), которой открывается век великого русского реализма, и рассказ А. Чехова «Человек в футляре» (1898), которым в известной мере водится ему итог. Когда эти два сочинения читаются подряд, проступает глубинное сходство двух центральных персонажей, хотя на первый взгляд между ними нет ничего общего. Акакий Башмачкин — маленький человек, всеми унижаемый и обижаемый, а чеховский Беликов, напротив, держит у себя под башмаком все местное общество. Но в основе обоих типов лежит какая-то «маленькость», выраженная уменьшительным суффиксом в обеих фамилиях. Башмачкин — «низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат...». Беликов — «маленький, скрюченный», носит темные очки и постоянно прячет лицо в воротник. И внешность их, и образ жизни — сама серость, стертость, бесцветность, боязливость, отчужденность от всей окружающей действительности. Оба стараются скрыться в иной, стерильно - отвлеченный мир, которым, как футляром, отгораживаются от современности. Оба как будто еще не родились на свет, не вступили в настоящую, взрослую жизнь, и поэтому главной заботой и темой их существования является вторичная материнская утроба — шинель, обочка, футляр, которые оберегали их от сурового климата и всех превратностей внешнего мира.

Оба ведут очень воздержанный, почти монашеский образ жизни, замыкаясь, как в келье, в идеальном мире Сущностей, вечных и чистых, как платонические идеи. Для Акакия Акакиевича это Буквы, которым он служит как переписчик. « Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало <...> Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице... »

А Беликов находит себе прибежище в Древнегреческом Языке. «Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

- О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!». Оба героя меняют мир людей на Буквы и Язык — мир Знаков, отрешенный от всего житейского, слишком человеческого, и находят в этих Знаках почти чувственную усладу. Можно отметить почти дословное сходство Беликова с Башмачкиным, как будто Чехов чуть-чуть подглядывал в гоголевский текст. Беликов «говорил со сладким выражением» - наслаждение выражалось на лице его» (Башмачкина). «Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами...» В основе обоих произведений лежит и сходный предмет- мотив, выраженный самими заглавиями — «Шинель» и «Человек в футляре». Футляр в виде башмачкинской шинели или беликовского теплого пальто на вате и физически, и символически ограждает героев от пугающего их мира. Оба существа предельно необщительные, асоциальные, что выражено молчанием и косноязычием Башмачкина, который обычно «ни одного слова не отвечал» на насмешки окружающих, если же по необходимости изъяснялся, то «такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения». Беликов как учитель гимназии, выражается гладко, но предпочитает молчать, гнетуще действуя на окружающих. «Придет к учителю, сядет и молчит <...> Посидит эдак, молча, час-другой, и уйдет <...> ходить к нам и сидеть было для него тяжело...». В обоих случаях речь идет о тяжелой форме социофобии. Так называется недуг, от которого страдает множество «маленьких» людей во всем мире, желающих только одного - затвориться в своем футляре (например, в США к этой группе принадлежит 13 процентов населения). Социофобия — это страх заводить дружеские, любовные, семейные, какие бы то было человеческие отношения. В старину такой комплекс людобоязни именовался мизантропией, поэтому слово «Антропос», сладостно произносимое мизантропом Беликовым, звучит в его устах, конечно, как чеховская насмешка. И Башмачкину, и Беликову тяжелее всего дается именно общение с людьми. «Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его (Башмачкина. — М. Э.) на каком-нибудь вечере». «...Было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело».

Социофобия включает ряд дополнительных фобий: энохлофобию — страх толпы, агорафобию — страх открытых многолюдных пространств, гетерофобию — страх существ противоположного пола. Беликова «даже и вообразить нельзя было женатым». Все его существо настолько бесполое и необщительное, что знакомым даже в голову не приходит, «как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос?» О Башмачкине и говорить нечего: единственной подружкой, которая согласилась пройти с ним жизненный путь, была все та же шинель. Лишь под старость (ему уже за пятьдесят) Башмачкин впервые видит — всего лишь на картинке — обнаженную женскую ногу, при этом усмехаясь как «вещи вовсе не знакомой, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье». Служивцы смеются над Башмачкиным, спрашивая, когда же состоится его свадьба с квартирной хозяйкой, семидесятилетней старухой. Беликов же вообще женской прислуги не держит из страха, чтобы о нем не подумали дурно. Так что диагноз «социофобия» и «гетерофобия» может быть поставлен обоим персонажам без особых затруднений.

Знаменательно, что чеховский рассказ открывается образом деревенской Мавры, тихой (пассивной) социофобки, которая годами сидит за печью и только по ночам выходит на улицу. Такая людобоязнь объясняется рассказчиком Буркиным как психический пережиток, атавизм. «Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге...»

Заметим, что современная наука — этология человека - рассматривает социофобию не как атавизм, а как патологию (психопатию и социопатию). Люди все-таки произошли не от

медведей в их уединенных берлогах, а, с эволюционной точки зрения, от человекообразных обезьян, у которых уже была достаточно сложная социальная организация с многочисленными родственными и дружескими связями. Так что социо фобия считается в эволюционной психологии не рецидивом какого-то досоциального образа жизни первобытного человека или его предков, а результатом либо органических психических отклонений, либо психологической травмы в детстве, либо патогенных условий индивидуального развития и воспитания.

Казалось бы, таким, как Мавра, совсем уж боязливым, забившимся в свою скорлупу, можно только посочувствовать. Да и сам Беликов располагает к жалости.

« -Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали. Мне даже жалко его стало». Эта «тихая жалоба» Беликова перекликается со знаменитым «гуманным местом» «Шинели», с жалобным восклицанием Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Это «преклоняющее на жалость» — башмачкинское в Беликове: любобязненным трудно приходится в этой жизни, и даже когда они сами внушают страх, они не перестают бояться.

Но суть в том, что этот «атавизм» имеет тенденцию возрождаться не только как патологическая черта личности, и как социопатия целого общества, которое вдруг впадает в любобязнь, переходящую на своей высшей стадии в людоедство. Было бы полезно различать два вида социофобии: пассивную и активную. Парадокс в том, что социофобы, забиваясь в свой угол, вместе с тем могут быть социально очень активны. Свой страх общества они вносят в само общество, разлагая его изнутри, побуждая людей бояться друг друга. Маленький, робкий, жалкий Беликов, который постоянно боится «как бы чего не вышло», приобретает магическую власть городом. «...Этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город <...> Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать Бедным, учить грамоте...» В отличие от Мавры, которая хоронится от людей у себя за печкой, Беликов хоронится от людей на виду самого общества, превращая их в себе подобных, «из себя не выходящих», похороненных в своих футлярах.

Истории двух шинельных, или футлярных, людей разворачиваются параллельно. Оба долго были верны своему аскетическому и «минимальному» образу жизни, — Башмачкину уже за пятьдесят, Беликову далеко за сорок, а они все еще погружены в свои чернильно-бумажные прописи или древнегреческий язык. И только когда каждый из них решил обзавестись «подругой жизни», — один в виде все той же шинели, другой в лице певучей и смешливой Вареньки, — с ними происходит внезапный и стремительный катаклизм. Выход из домашней скорлупы в светскую жизнь, посещение вечеринки или театра, выводит этих шинельных людей из равновесия и приводит в столкновение с неведомыми им силами. Ночное ограбление Акакия Акакиевича, вдруг лишившегося своей новобрачной, своей шинели, перекликается со сценой, когда уже близкий к сладостным брачным узам Беликов изгоняется из дома невесты — терпит фиаско, которым «завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова».

Заметим, что между нашими маленькими людьми и женственными предметами их вожделений встают персонажи другого физического масштаба, воплощающие сильное мужское начало. «"А ведь шинель-то моя!" — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать "караул", как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову...» Коваленко, отнявший свою сестру Вареньку у Беликова, внешне похож на этих грабителей, отнявших шинель у Башмачкина: «с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу- бу...». Ключевые детали опять совпадают: «громовый голос» - «говорит басом», «голос как из бочки»; «кулак величиною в голову» - «громадные руки».

Другая фигура «Шинели» того же превосходящего ряда - «значительное лицо». Генерал топает на Башмачкина ногою и повышает голос до такой степени, что тот обмер, за-

трясся и тут же упал бы на месте, если б его не подхватили сторожа. «Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук ни ног <...> добрался он домой <...> весь распух и слег в постель».

А Беликов даже не спустился сам по лестнице, а был спущен с нее разгневанным Коваленко и прогромел по ней всеми своими очками и калошами. «Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал».

Почти одинаковая концовка обоих рассказов и жизненного пути героев: спуститься по лестнице, вернуться домой, лечь в постель и уже более не вставать - еще раз подчеркивает сходство двух сюжетов: пустая, бессобытийная жизнь маленького человека, расцветившая только одним каким-то странным «знаковым» увлечением «не от мира сего»; попытка выйти в жизнь и стать «как все люди», обзавестись женой или новой шинелью; как месть за эту измену своему призванию мгновенное потрясение и смерть, виновниками которой становятся «сильные», «большие» люди.

Правда, нужно вспомнить, что в эпилоге «Шинели» Башмачкина ждала за гробом еще другая, беспокойная судьба привидения, охотника за чужими шинелями, наводившего страх на город. Уже Гоголю чудилось что-то демоническое в образе смиреннейшего Башмачкина, и тема дьявольского соблазна, олицетворяемая «одноглазым чертом», портным Петровичем, проходит через всю повесть, увенчанная эпилогом, где все «жизне маленького человека» переворачивается в анжигие, обнаруживает свою inferнальную изнанку. Но то, что у Гоголя — фантастическая притча о бедном чиновнике, незаметно для самого себя (а отчасти и читателя) вошедшем в романтические сношения с дьяволом, у Чехова становится куском реалистической, почти газетной, фельетонной прозы.

Беликов не срывает шинелей с горожан, напротив, он всех их упаковывает в гробоподобный футляр собственного изготовления. В том и состояло художественное открытие Чехова, что в маленьком человеке, которого было принято по-христиански жалеть или гуманистически защищать от общественного гнета и неравенства, он обнаруживает социально опасный тип, который подравнивает всех под свою малость и превращает ее в знак гражданской благонадежности.

А отсюда уже и очертания нового, наивысшего взлета этого типа в следующем веке. Над всем XX столетием возвышается маленький человек, скроенный точно по мерке Акакия Акакиевича: «низенького роста, несколько рябоват... и с цветом лица что называется геморроидальным», — коротышка ростом 155 см, с желтым лицом в оспинах. Замурованный в несменяемую Шинель. И с инфантильной кличкой Сосо, словно бы имитирующей детский причмок и непристойный повтор орально-анального слога в имени Акакий. Людобоязненный вождь вожделюбивого народа. Как и один продрогший переписчик прошлого столетия, он с молодости «приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели», а заодно и вечную идею будущей шеренги и казармы.

Одно из возможных наименований синдрома Башмачки - Беликова — аутизм, теорию которого впервые разработал швейцарский психиатр и психолог Э. Блейлер (1857 — 1939). Аутизм, по Блейлеру, — одно из группы сходных заболеваний, объединенных названием «шизофрения». «Одним из важнейших симптомов шизофрении является преобладание внутренней жизни, сопровождающееся активным уходом из внешнего мира». Аутизм — это замкнутость в себе, ослабление или потеря контакта с окружающим миром, утрата интереса к реальности, отсутствие стремления к общению, бедность эмоциональных переживаний и проявлений. Однако этот уход из внешнего мира не всегда означает отказа от действий, направленных вовне. «Аутистические стремления могут направляться и на внешний мир; так, например, случаи, когда шизофреник-реформатор хочет перестроить общество и вообще постоянно стремится к активному участию во внешнем мире». Именно таков случай Беликова: его аутизм направлен вовне, и поэтому общество под воздействием Беликова само оказывается «в ауте».

Таким гиперактивным аутистом был, очевидно, и наш социофоб исторического масштаба, о котором известно, что он был маниакально подозрителен, недоверчив и органически неспособен к дружеским, интимным, личным отношениям с людьми. Аналог беликовского футляра — кремлевский кабинет и кремлевская же дача, в путешествии между которыми проходила вся государственная жизнь «кремлевского горца».

Редко и неохотно он отклонялся от своего излюбленного маршрута, который, при всех достижениях транспорта, был намного длиннее путей Башмачкина и Беликова из квартиры в канцелярию или гимназию — путей, от которых они тоже старались не отклоняться. Социофобия этого сверх - Беликова в белоснежном кителе, однако, не помешала ему стать главой самого социалистического в мире государства, в основе которого лежала «отрицательная сплоченность» — страх каждого перед каждым.

Мягкий, сниженный вариант такого руководящего типа, коммуниста-аутиста, обрисован Андреем Платоновым в образе Симона Сербинова в романе «Чевенгур» (1929). Сербинов - «маленький человек в футляре» ранней советской эпохи. Как и Башмачкин, он - письменный человек, его главный рабочий инструмент — ручка-самописка; «ты писарь, а не член партии», — определяет его настоящий боец Копёнкин. Как и Беликова, для Сербинова очень важно иметь футляр, оболочку, утробу, в которой он, новорожденно - незрелый, нетленный, может спрятаться от жизни. Родная мать, собственно, и остается для него такой сберегающей утробой. Он жил потому, что мать некогда и надолго загородила его своей нуждой в нем от других многих людей, которым Симон был вовсе не нужен...», «Мать служила Симону защитой, обманом от всех чужих людей», «Теперь эта изгородь упала», «мать исчезла, и без нее все обнажилось». Сербинов мучится одиночеством, он преисполнен «грустью скучного человека на свете», он «несчастный, замерший среди жизни человек».

И однако он ездит по стране и переустраивает жизнь масс, «чтобы добиться для партии точной правды из трудящейся жизни». «Подобно некоторым изможденным революционерам, Сербинов не любил рабочего или деревенского человека, — он предпочитал иметь их в массе, а не в отдельности». Здесь явно звучит мотив беликовского «Антропос!» — восклицательный образ человека вообще при боязливо-подозрительном отношении к живым окружающим людям. Буквы Сербинову ближе людей: он ведет книгу человеческих приходов и расходов, куда заносит имена даже случайных знакомых, всех, с кем ему довелось встретиться и расстаться. И вот к концу своей жизни он «ничего не мог записать в свою книгу и лишь читал ее и видел, что все его прошлое пошло ему в ущерб: ни одного человека не осталось с ним на всю жизнь, ничья дружба не обратилась в надежную родственность». Сам не умея быть счастливым, он наделен партийным полномочием строить счастье для всех», но при этом терпеть не может счастливых людей. «...Счастливые были для него чужими, он их не любил и боялся».

И вместе с тем Сербинова «вампирически» влечет к полнокровным и краснощеким. Чеховский Беликов неожиданно влюбился в полную свою противоположность, Вареньку, которая с избытком наделена чувством счастья: «новая Афродита <...> хохочет, поет, пляшет...». Точно так же Сербинов влечется к Софье — «счастливой, одаренной какой-то освежающей жизнью женщине»: ее «излишнее дарование жизни» волнует его. Варенька — «разбитная, шумная», и точно так же жизнь Софьи «раздавалась кругом как шум». Наконец, для тихонь - футлярщиков их знакомство с «шумными» женщинами послужило прологом к гибели, как будто сколь-нибудь глубокое соприкосновение с избытком жизни ломает механизм их самосохранения. Удивительно, как устойчиво проходит от Гоголя через Чехова к Платонову, разделяясь интервалами совсем разных эпох, этот аутический архетип, век от канцелярского переписчика через учителя мертвого языка к революционному писарю-уполномоченному.

Знаменательно, что одним из первых обратил внимание на сходство Башмачкина и Беликова Ленин в присущей ему разоблачительной манере: «...наши реакционеры, — а в числе, конечно, и вся высшая бюрократия, — проявляют хорошее политическое чутье <...>

они подозрительно относятся ко всем, кто не похож на гоголевского Акакия Акакиевича или, употребляя более современное сравнение, на человека в футляре».

Эта удивительная литературная пронизательность первого коммунистического вождя к типу «футлярного» - человека представляется тем менее случайной, что она обернется торжеством той же футлярной ментальности в деятельности второго вождя, строителя социализма в одной отдельно взятой стране. Да и сам И. В. Сталин любил пользоваться жупелом «человека в футляре», обращая его против своих политических оппонентов. «...Бывшие лидеры правой оппозиции <...> болеют той же болезнью, которой болел известный чеховский герой Беликов, учитель греческого языка, человек в футляре. Помните чеховский рассказ "Человек в футляре"?» И дальше Сталин посвящает целую страницу своей речи на партийном съезде пересказу чеховского рассказа и обличению футлярщины правой оппозиции, предсказуемо вызывая у аудитории «общий смех и аплодисменты».

Если вдуматься в смысл радикальнейших версий коммунизма и всмотреться в характеры его вождей, включая самого «основоположника» Карла Маркса, бросаются в глаза черты активной социофобии: ярко выраженная мизантропия, вражда к существующему обществу и грызня со всеми современниками, включая даже «товарищей» и сподвижников, которые по малейшему поводу обвиняются во всех грехах уклонизма и оппортунизма; подозрительность ко всем инакоживущим и инакомыслящим; страх бытия в его самочинности, стихийности, «счастливости», непредсказуемости, неупорядоченности («как бы чего не вышло»); умственная закрытость, неподвижность, однодумство, сосредоточенность на «Букве», «Шинели», «Футляре» или другой идее-фикс.

Та футлярность, которую коммунистические вожди обличит в маленьких людях, «мещанах», «обывателях», «бюрократах», «чиновниках», «мелких буржуах и буржуйчиках», в самих разоблачителях разрастается до наполеонических размеров, превращаясь в ментальность осажденной крепости, в прокрустово ложе «социальной сплоченности».

Такие сверхсерьезные шутки подбрасывает нам история отечественной литературы и причудливая фантазия отечественной истории. Эта шутка не была бы понята во всей ее глубине, если бы между самым маленьким человеком XIX века и самым возвеличенным Сверхчеловеком XX не помещался их посредник, зачехоленный чеховский персонаж — маленький человек в футляре.